

ИДЕИ И ЛЮДИ

Георгий Адамович

Другие берега

ЕСТЬ ЛЮДИ с литературным дарованием, — иногда огромным, а то и сравнительно незначительным, — которые пишут статьи, романы, рассказы, между прочим пишут и стихи. Георгий Иванов родился для стихов, пришел в мир, чтобы писать стихи, как Бальмонт пришел в мир, чтобы видеть солнце. Это, пожалуй, основная его черта: для него стихи — тот воздух, которым ему от природы предназначалось дышать. Как всякий подлинный поэт, он способен, конечно, писать и прозу, порой прекрасную прозу, — да и могло ли быть иначе? Стихи ведь требуют слишком бережного, взвешанного и умелого отношения к слову, чтобы, привыкнув к ним, не быть в состоянии справиться и с прозаической фразой. Но истинная стихия Иванова — стихи.

Поклонный Биццали сделал когда-то о Пушкине удивительно правильное замечание, одно из немногих содержащих замечаний вообще сделанных о Пушкине в последние десятилетия, среди пустых, стереотипных фраз о «гармонии», формалистических мелочах с подсчетом

составляют предмет вдохновения Георгия Иванова. У меня нет книги под рукой, но могу процитировать точно, но за смысл ручаюсь. Конечно, фарфоровые безделушки — нарочито преувеличение, тем более неслепое, что еще в России, до эмиграции, ивановские темы изменились, и составителям истории следовало бы об этом знать. Но действительно первые стихи Иванова — «Отплытие на остров Цитеру» и другие — были как-то нарядно и весело внешними, без всякого прорыва в области иные. Отчасти это может быть и восходило в них Гумилева, тогда начинавшего борьбу со всякими туманами и мистическими расплывчатой тоской о недостижимом. Должно было восхитить его, впрочем, и то, к чему он был особенно чувствителен: безошибочность напева, возникновение поэзии из напева, независимо от логического содержания фразы, а вовсе не из поэтичности замысла. Стихи Иванова были вполне земными стихами, но ils le creusaient le ciel — формула Бодлера: «la poesie le ciel» — безотчетно и все очевиднее, нежели многие из тех стихов, где только о небе и говорится.

Вспомогательное сравнение. В те годы авиация была еще новинкой, и мы, в сущности еще дети, ездили весенними вечерами на какой-то пригородный аэродром, — кажется, Коломяжское шоссе — любо-

он сам, Иннокентий Федорович, чиновник, мечтатель, записчик, которому Рязань или Чулошма все-таки не менее дороги, чем Париж, человек одинаково испуганный и жизнью, и смертью, в каждом своем стихотворении Анненский опровергает свою теорию. Если что-нибудь он действительно «выдумал», то именно ее, и выдумкой она и осталась.) Однако, к короткому очерку было бы невозможно рассказать об «эволюции» Иванова на всем протяжении его деятельности, да это и не входит в мою задачу. Прошлое я затрону лишь потому что в нем, в этом прошлом, бывали у Иванова моменты, когда кривая линия, которой схематически можно изобразить развитие всякого творчества, резко взвивалась вверх. Оттого ли, что это были только моменты, оттого ли, что поэзия у нас, при внешнем, может быть даже напускном, интересе к ней, мало внимания, эти стихи Иванова не были по достоинству оценены. Их мало кто знает, не очень твердо и помнят. Сейчас, в последние десять-двадцать лет, он наконец достиг признания подлинного, заслуженного и, кажется, сам этим удивлен. В эти последние годы Иванов нашел новый для себя стиль, который многих поразили. Его стихи «дошли», и действуют они сейчас на читателей глубже и шире, чем когда бы то ни было прежде.



блеску верил...» Позволю себе предварительно высказать суждение, идущее вразрез с мнением общепринятым: Андрей Белый бы, по-моему, в стихах мало талантлив, хотя в других областях наделен был дарованием исключительным. Еще совсем недавно, перечитывая посвященную Белому книгу Мочульского, где приведено множество его стихотворений, я удивлялся: одно хуже другого, и даже те знаменитые строфы «Белого», где он в страстно-страдальческом тоне обращается к России, до неслепости напоминают Некрасова и при этом великом воспоминании мгновенно превращаются в стилизованный и лубочный прах. Мочульский по своей привычке, — несколько портящей его умные и содержательные работы, в частности книгу о Достоевском, — почти непрерывно восхитится, и чем сильнее вызываемая цитатами досада. Однако раз или два в жизни Белому удалось в стихах как бы прорваться дальше, за стихи, и таково это стихотворение «Золотому блеску верил». Блок его не написал бы, Георгий Иванов — тоже: не могли бы и не хотели бы. Оба вероятно почувствовали бы, что самая материя этих строк серовата, порочна, их дарование увело бы их в сторону от этих сводящих скуды своей непосредственностью зарпных степеней. Стихотворение Бе-

быть, именно в этом сущность ивановской поэзии? Не знаю. Слов таких у Иванова не найти, а если бы они случайно у него под пером и мелькнули, рядом оказалась бы, конечно, усмешка, капля серной кислоты «во избежание недоразумений» и слитком благонамеренных выводов. От выводов ивановская поэзия ускользает. Но откуда же свет? Если бы его не было, могла ли бы эта поэзия не только восхищать и прельщать своим словесным блеском, но и волновать, мучить, обещать, в самой безнадёжности таить и внушать надежду, одним словом, «царить»?

Был у него в Иере, маленьком городке на южном побережье Франции, около Тулона, неделе за две-за три до его смерти. Было ясно с первого взгляда, что это конец... Но казалось — конец, который может еще длиться, с перемежающимися улучшениями и ухудшениями, как почти всегда бывает при последних смертельных болезнях. Конец подлинный, окончательный настал, однако, совсем скоро.

Чем Георгий Иванов был болен? Ответить трудно, и врачи сами отвечали уклончиво и неопределенно. Вполне возможно, что сведа его в мигу какая-нибудь скрытая, ускользающая от диагноза болезнь. Но организм его был настолько истощен, что мог он

делами на «это» и «кубо» и взаимно друг друга презирали: первые — несколько жеманные, томные, вторые — вызывающе грубые, но по общему безошибочному впечатлению представляющие собой нечто много более внушительное и серьезное, Гумилев, вечный Дон Жуан, тогда же сказал, заметив понаравнившегося ему барышню явно футуристического вида: «Если она «кубо», я готов в нее влюбиться, если «это» — нет, ни за что».

Это был 1913 год. Георгий Иванов позднее писал: Все, что бродило в тринадцатом году, лишь призраки на петербургском льду.

Но тогда, в этот последний спокойный и, хочется добавить, последний счастливый русский год (конечно, тогдашнее «счастье» исторически и социально спорно, но это большой, сложный вопрос, которого не следует и задавать мимоходом, и говорить и сейчас только о наших иллюзиях) — тогда почти никто не предвидел неслыханных перемен, неслыханных мятельных, по Блоку, и казалось, жизнь для того и дана, чтобы радоваться ей и благодарить за нее судьбу. А литература... да, разумеется, литература — это заветы, труд, горение, «священная жертва Аполлону», но Аполлон — божество терпеливое, снисходительное, и что же скрывать, литература со своими спорами, вечерами

НЕВЫДУМАННЫЙ ПОЭТ ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

К 100-летию со дня рождения

цветовых или иных эпитетов и кропотливых биографических изысканий. Пушкин — сказал Биццали — редчайший пример писателя, который в стихах свободнее, чем в прозе. Как верно! Действительно, насколько «Онегин» свободнее, непринужденнее, как-то окрыленнее в самом словесном составе своем, чем «Пиковая дама» или «Кавказская дочка»? Не знаю, можно ли было бы сказать о Георгии Иванове то же самое. Но что стихи — его исключительная область, его «Царство», в этом сомнений нет, — а раз я упомянул о «Царстве», то готов повторить и глаголом «царит», употребленный недавно в статье В. Маркова. Г. Иванов действительно «царит» над современной нашей поэзией. Скажу мимоходом, что я редко бываю согласен с Марковым, мне редко бывают по душе его статьи, в которых явно что-то еще не «перелободило» и где при этом незаметно брожение, что затнувшееся брожение к чему-либо наконец приводит. Но Марков — талантливый человек, в его капризных и речивых запальчивых писаниях есть неподдельная свежесть, есть игра живого ума, эти писания украшают сейчас нашу полку и по-прежнему печатя, и я рад случаю хоть в чем-либо с ним согласиться.

Я, я, я... как будто слишком много о самом себе! В связи с Марковым это вышло случайно, но боюсь и дальше местоимения «я», досадное и неизбежное, будет мелькать чаще, чем следовало бы (не начать же манерничать, прибегая к «пишущему эти строки», будто это «пишущий» — вовсе не я!). За сорок с лишним лет я так часто виделся с Ивановым, так сблизился с ним, — правда, иногда и расходясь, — так много накопил воспоминаний и впечатлений, что мне трудно писать о нем, не влетая в то, что пишу, и самого себя. Должен однако заметить сразу: никакого литературного родства между нами нет и не было; и не имея ни малейшей претензии (исключенно) сравнивать или хотя бы только сопоставлять те стихи, которые мне случалось писать, со стихами Иванова, я всегда воспринимал его поэзию как нечто духовно-далекое (а если духовно, то значит и стилистически). С его стороны отношение было, кажется, такое же. Дружба возникает порой в силу сходства, а иногда и наоборот, по контрасту.

Еще в Петербурге, до революции и даже до 1914 года, мне представлялось, что он весь в будущем и должен, как говорится, «найти себя». Самый воздух его стихов, самая и чудесная ладность их явно обещала нечто более значительное, чем тогдашние его темы и тот круг образов, которым он себя ограничивал. В многотомной советской «Истории русской литературы», обстоятельной и содержательной в своей чисто исторической части, но вздорной по отношению к современности, что-то сказано — на страницах об акмеизме — о фарфоровых чашках и безделушках, которые будто бы

валятся полами смеячков, кружившихся невесело над землей на своих хрупких аппаратах с полными крыльями, большей частью двойными крыльями. Упадет или не упадет? — уверенности не было. Казалось, каждую минуту может упасть, и если в отдалении пролетала птица, сразу угадывалась разница: птица упасть не может. Даже большие поэты не всегда в стихах своих дают почувствовать, что не сорвется, не упадет, не исказит ритма, не подменит органически спаянной строфы словесной толчеей, которую можно считать стихами лишь в силу наличия рифмы и размера. У Иванова строка от строки всегда подрагивалась сама собой: он был птицей, а не машиной, в которой тут надо было бы что-то смазать, там подвинуть и скрепить. В горьковском афоризме хотелось бы читать и в особенности слушая Иванова, сделать ластовку: «рожденный ластовать полагать не может».

Позднее, в первые революционные годы, его стихи как будто по-настоящему вырвались на простор из мира несколько душного и в себе замкнутого. Мне, да и не мне одному, тогда казалось, что Иванову в расцвете сил, догнавшись до лучшего, что суждено ему написать и хотя формально это не было верно, я и сейчас вспоминаю его тогдашние стихи, широкие, легкие, сладкие без всякой приторности, нежные без сентиментальности, как одно из украшений новой русской поэзии. Биографическую справку к ним давать было бы рано, этим, надо надеяться, займется будущее. Но по внезапному переходу от образов декоративных к таким строкам, как «но разве мог бы я, о, посуда сама, в твои глаза взглянуть и не сойти с ума!» — всякий догадается, что именно с поэтом происходило. Я не случайно вспомнил из целого ряда Ивановских любовных стихов именно эти, «о, посуда сама» — как вспомнил о них Роман Гуль в своей статье 1955 года: пожалуй ни в каком другом стихотворении ему не удалось с такой же непосредственностью и убедительностью передать и выразить пугающую любовь, мучение любви, сплетение со счастьем, те «блаженство и безнадёжность», которые в старости, по Пютчеву, может быть и обостряются до крайности, но по существу друг от друга не отделяются. Несомненно, к этому времени Иванов был уже зрелым мастером, сумевшим найти равновесие между преобладающей изысканностью и свирепствами противоположных, тогда крайностями противоположных, в стиле «а в морду хощь!», крайностями, которые нередко бывали только эстетизмом названным. Он говорил своим языком, теми словами, которые были для него человечески-естественны, поняв и почувствовав, что иное отношение к поэзии для нее оскорбительно и ведет к ее предательству. (Анненский утверждал, что поэт должен «выдумать себя». На деле однако мало было у нас поэтов менее «выдуманных», чем он. В каждом своем стихотворении, где виден прежде всего

Что это за стиль? Я полагаю, истинно, не то привычке, не то по инерции, задав себе этот критический вопрос, собираясь тут же на него ответить, — и надоело задуматься... Ответ дать не легко. В самой попытке сформулировать его заключен риск упустить, сгладить (жалко, что нет глагола «уплощать», «уплотнить», от слова «плоский») нечто сложное, болезненное, непрерывно противоречивое и уклончивое.

В нашей литературе не было еще стихов, где о крушении всех возможных человеческих надежд было бы сказано с таким своеобразием и очевидностью, даже с такой настоятельностью, с отказом от всяческих экранов или «снов золотых». И не только о крушении, а и о чем-то вроде тогословского «над чем смеется? над собой смеется?», что придает ивановской поэзии ее особый оттенок и выводит ее за пределы «дневника», как Иванов сам ее теперь определяет: может быть это и дневник, но дневник, в котором лирическое сплелено с общим и даже общественным. Думаю, что если стихи эти написаны сейчас подлинный отклик, то вовсе не только по своим чисто литературным достоинствам. Нет, они задевали одну из тем нашего века в особом, русском ее преломлении, они внушены веком и всеми его чудовищными переставками, пусть и предостерегают к нему комментарий, который не для всех приемлем, а иных и раздражает. В той же статье Романа Гуля, о которой я упомянул, приведено заявление человека, стоящего — как пояснил Гуль — «на педагогических позициях Белинского и Михайловского». Он говорил об Иванове: «мне хочется его приговорить к лишению всех прав состояния и может быть даже отправить в некий дом предварительного заключения». Собеседник Гуля, разумеется, шутил. Но по существу подобная реакция не удивительна, и было бы удивительно, если бы поэзия Иванова последних лет, рядом с восторженным ее признанием, никого не отталкивала.

Люди живут, или стараются жить, как обычно: организуют разного рода союзы, ходят на заседания, издают программы по земскому самоуправлению в будущей России или устраивают биржевые конкурсы, да, порой и в тех условиях где надежды должны бы полностью смениться воспоминанием, люди в большинстве своем отказываются сдать судьбу. Это не страусова тактика, о нет, это — торжество жизненного инстинкта, приносящего к любым формам существования или даже насхп создающего эти формы, это в целом — нечто напоминающее тот репейник, о котором рассказано в предисловии к «Хаджи-Мурату». Да и как знать, может быть, в конце концов придет награда, придет оправдание усилий и жизненной стойкости? Как знать, в самом деле? Кто это знает? Кто? Не лучше ли верить, упорствовать, «бороться» или «тянуть лямку», чем на все махнуть рукой?

Надо ответить: да, лучше — даже если не стоишь на педагогических позициях». Но вот является поэт, притом поэт — с каким-то Стравинским в руках, и, как будто ни о чем, кроме своего личного горестного опыта не рассказывая, превращает все без исключения, что составляет самую ткань существования, в чепуху, «мировую чепуху» по Блоку. Смущение, волнение должны были возникнуть в ответ, тем более, что музыкальное и стилистическое «формование» этого монолога неотразимо. Мирская чепуха обнаруживается в самую сердцевину жизни, раздвигая ее и отбивая к ней охоту... Но Георгий Иванов, усмехнувшись, скажет, — ни о чем другом его стихи не говорят: «я жить и не собираюсь, по крайней мере в вашем понимании этого слова! а если вам, господа, тот мир, который вы изволите называть Божиим, нравится, что же, дело ваше — живите! Честь и место!»

Что это, в конце концов, «литература»? Здесь, в связи с этой внезапно мелькнувшей мыслью, могло бы возникнуть возражение более основательное, чем то, которое

Есть поэты, о которых говорить трудно, но о которых нельзя не говорить. Начиная с «Розы» (1931) любое, случайно взятое наугад стихотворение Георгия Иванова — из «чужеземных», его невозможно «разобрать на части», чтобы посмотреть, «как оно сделано», к его поэзии — как, может быть, ни к какому другому поэту — приложима знаменитая формула Георгия Адамовича: «Чтобы все было понятно, и только в цели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок. Чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось». Здесь нужно особое прикосновение, с чуткостью к полутону стиха, к светотени, к едва различимому колебанию «звонка», — прикосновение почти столь же мистическое, как и сама поэзия Иванова. Именно Георгию Адамовичу дано было произнести это слово. Первый эмигрантский критик о первом поэте эмиграции... К этому можно ничего не добавлять, разве несколько дат и уточнений.

Лекция К. Чуковского о футуризме была прочитана в Тенишевском зале 13 октября 1913 года; Георгий Иванов в то время уже состоял членом Цеха поэтов, куда в начале 1914 года и Адамович «был со всем церемониалом принят обоими синдикатами, Гумилевым и Городецким» («Новый журнал», 1988, № 172—173, с. 569). Вскоре почти все эстетский Петербург знал эту неразлучную пару как «двух Жоржиков». Вместе они организовали второй Цех поэтов сезона 1916—1917 гг., были главными действующими лицами третьего, вновь гумилевского, Цеха. Последний перед эмиграцией год они даже жили вместе в квартире у Адамовича на Почтамтской улице.

История их взаимоотношений далеко не столь безоблачна, как принято считать. Это скорее еще одна история дружбы-вражды, которыми так богата русская литература. Период дружбы и тесного сотрудничества долгое время продолжался и в эмиграции, где «двум Жоржикам» суждено было стать лидерами берлинского, а затем и парижского Цеха поэтов, непререкаемыми участниками «Зеленой лампы», вдохновителями «парижской поэзии» и альманаха «Числа». Разрыв произошел позже, хотя все-таки не в 1946 году, как считает, например, В. Крейд (Г. Иванов. Собр. соч. в трех томах. Т. 3 — М., 1994, с. 712). И причинной того было отнюдь не только участие Адамовича в просоветской газете «Русские новости». 28 июля 1945 года Адамович сообщает Алданову о своем бывшем ближайшем друге, что еще «в 39 году почти разошелся с ним» (блжжестский архив, Колумбийский университет, письма Г. Адамовича М. Алданову). Лишь в 1955 году, уже из Англии, где после войны преподавал в Манчестерском университете, Адамович предложил Иванову начать «переписку из двух углов» (Georgij Ivanov. Briefe an Vladimir Marcov. 1955—1958. — Köln; Wein, 1994, s. 13), после чего был заключен «худой мир» (Op. cit., s. 38). Об остальном лучше Адамовича никто не скажет.

Настоящая публикация — глава из книги «Мемуарная проза Георгия Адамовича», над составлением которой работают авторы «Нового журнала». Первая часть — статья в 52-м номере «Нового журнала» (1958) из цикла «Наши поэты», вторая — статья в «Новом русском слове» от 2 ноября 1958 года. Соединение их в одну главу не случайно: мемуаристика Адамовича часто переплеталась с его критикой, обе статьи вышли под одним названием: «Георгий Иванов», и взаимодополняют друг друга, тем более что обе вышли в год «итоговый» — год смерти поэта.

Олег КОРОСТЕЛЕВ, Сергей ФЕДЯКИН

тальное, чем то, которое внушено педагогической опекой над читателями и писателями. В самом деле, если все идет к черту, как можно писать стихи? Стихи именно о том, что все идет к черту? О мировой, непоправимой бессмысленности? Зачем их писать? На первый взгляд — «или-или»: если же один за другим появляются стихи, отравленные, но прелестьные, дело, пожалуй, еще не так страшно. Как будто бы так! Но художник себе не принадлежит, и в сущности тот же недоуменный вопрос можно было бы предложить еще Блоку, когда он писал, что «нашел весьма банальную смерть души своей печальной». Объяснение, по-видимому, в том, что Блок и Георгий Иванов — прежде всего художники: им было бы легче поступить в согласии с требованиями рассудка, если бы не становились они самими собой лишь в стихии ритма и образов.

Есть в нашей новой поэзии стихотворение, которое уместно было бы сопоставить со стихами Блоха или Георгия Иванова. Принадлежит оно Андрею Белому, «Золотому

лого и гениально, и слабо, и надеюсь, дорогой читатель, — вернемся на минуту к «белинско-михайловскому» критическому жанру! — надеюсь, читатель, что вы не пожете плечами, а если надо, подумав, согласитесь, что в этом сочетании слов нет нарочитой парадоксальности! Гениально, — потому, что Белый был необыкновенным человеком, истерзанным, но грандиозно истраженным своими и чуждыми исканиями и кастрациями, и иногда это ему удавалось в своих писаниях отразить, а не выразить. Слабо — потому, что он был поэтом. Искусство имеет свои непреложные законы, имеет и свои пределы, и случайному гостю в нем легче те и другие переступить.

Закроем, по давнему, вечно мне памятовому совету Льва Шестова, книгу, постараемся забыть отдельные стихи Георгия Иванова, отдельные его строки — что останется от них в памяти? Не колеблясь, я скажу — свет, да и не это ли, не именно ли свет, в сознании задерживающийся, есть основное свойство, основной признак всякого творчества, достойного имени поэзии? У Георгия Иванова это удивительно. Насмешки, намеки, умышленно смешанные с поэтическими условностями куски самой изысканной, повседневной обывательщины, вроде какого-нибудь «вчерашнего пирожка», грязь перемежку с нежностью, грусть, переходящая в издевательство, а надо всем этим — тихое, таинственное, немеркнущее сияние, будто откуда, сверху, дается этому человеку крушение смысла, которого человек сам не в силах найти... Кстати, если когда-нибудь стихи Георгия Иванова дойдут в советскую Россию, как будто они там вопиют? Нет сомнения, что возбудят они страстный и длительный интерес, тревожа, сколько бы критики ни билась над разъяснением их «уплодного» характера. У Ник. Тихонова есть, помнится, строка, если не ошибаюсь, относящаяся к англичанам: «...И дубовых наподат ребит». В России сейчас массовое производство «дубовых ребит» стало целым, идеальным и объектом все государствен-венных усилий, но едва ли, едва ли цель эта окажется поглой, будто достигнутой. Будем надеяться, во всяком случае, что в нашей России, где должны же все-таки остаться «русские мальчики» карамазовской складки, она полностью недостижима, и что после бойких и ловких од в честь какой-нибудь «доярки», успешного перевыполнения нормы, ивановские стихи заставят этих «мальчиков» встрепенуться: так вот куда может уйти поэзия, вот что может произойти в душе человека? Но это — другая, да и большая тема, которая увела бы нас от поэзии Георгия Иванова далеко.

Останемся с ней: исчерпать ее трудно, сказать о ней все, что сказать следовало бы, тоже нелегко, отчасти потому, что в попытках анализа мысль цепляется за мысль почти до бесконечности. «Господи, воззвях к Тебе...», — может

умереть и от убыли жизненных сил, от отсутствия всякого сопротивления неаду, который для другого опасен не был. «В светлячине нет больше масла» — по обычному в таких случаях сравнению. Действительно, гореть, светиться — в чисто физическом смысле — было уже нечему. Он говорил с трудом, держался на ногах еще труднее, а худ был так, что сам себя сравнивал с буженвалдскими снимками. Горестно насмешлив он до последнего дня. Георгий Иванов знал, что умирает. Но ему хотелось жить, по-видимому, страстно хотелось, и в ответ на стереотипно-живые успокоительные уверения «у тебя совсем не плохой вид», «да ты еще всех нас переживешь» — кто же этих слов не знает? — улыбался доверчиво, а я думаю, без притворства. Вероятно, мелкая у него мысль: «пожалуй, я и в самом деле не безнадежно болен». Но, тоскуя об уходящей жизни, он — насколько могу судить — смерти не боялся — хотя бы потому, что смерть была в его представлении абсолютным, абсолютно-пустым «ничто», черной дырой. Бояться можно того, что подается воображению, здесь было одно только отсутствие, пожалуй, даже отсутствие с большой буквы.

Неволью возникло недоумение: как, этот иссохший, изможденный до неузнаваемости человек — это Георгий Иванов, тот самый Жорж Иванов, которого я знал сорок лет, нет, даже не сорок, а больше, почти полвека. Он старался быть прежним, шутил, острит, расправлялся о литературных мелочах и сплетнях. Временами как будто хотел, оставив пустяки, сказать что-то важное, нужное. Но мы с женой его, Ирины Владимировны Славенцевой, перебивали его, чувствуя, что перебивали «важный» разговор — подержать, он поймет, что дело плохо. На прощание, однако, он мне все-таки несколько особенно нужных ему слов сказал — но об этом после.

А через две или три недели его хоронили. Был жаркий южный день, в мыслях у меня почему-то неотвязно были тютчевские «кладбищенские» строки — «А небо так нетленно чисто...» Действительно небо было нетленно синим и, как бывает над открытой могой, будто обещало нетленность иную, ту, о которой обычными, истраиванными словами лучше не говорить.

В памяти, конечно, и первые встречи, дореволюционные, довоенные Петербург, бесконечные ночные разговоры, первые литературные радости и волнения. Познакомился я с Георгием Ивановым на лекции Корнея Чуковского о футуризме, в круглом Тенишевском зале. Помню даже вступительную фразу этой лекции: «Как много у поэта экипажей!» — начал Чуковский с лукавой улыбкой, собираясь перечислить все кареты, ландо и фаэтоны, мелькающие в стихах Игоря Северянина. В публике была верзига Маяковский в ярко-желтой кофте с открытой шеей. Давид Бурлюк с деревянной ложкой в петлице... Все были молоды, всем было весело. Футуристы

или бесценными заботами, это и великое развлечение! «Акмеисты должны объявить войну на два фронта — и против футуристов, и против символистов» — с бонапартовской боевой решительностью восклицал Гумилев, и как же было в восемнадцать-двадцать лет не найти, что в такой «войне», на два фронта или на один, все равно, очень много и увлекательного, и занятного и всепоглощающего.

Георгий Иванов был неразлучен с Осипом Манделштамом, одним из самых смешливых — и при том одним из самых умных — людей, которых мне приходилось встречать. Наперобой они сочиняли эспропроты, пародии, стихотворные шутки, и Манделштаму порой никак не удавалось свое очередное произведение прочесть, настолько сильно давил его смех. «Отплытие на о. Цитеру» — первый сборник Иванова — к тому времени уже прочно утвердил его репутацию как одной из главных акмеистических надежд.

Нет, все это было не «давным», это было в другом существовании, в другом мире, отдаленном от нас тысячелетиями. Возраст тут ни при чем. Нашему поколению выпало на долю перенестись именно из одного мира в другой, и, едва начав в прежней России жизнь, продолжать и оканчивать ее в условиях совсем иных.

Георгий Иванов был крепче большинства, а пожалуй, даже и всех своих сверстников с прощлым связан, болезненное и трудное с новыми условиями свыкался, и стихи его — красноречивое о том свидетельствование.

Он умирает трудно. Но в последние свои месяцы стал как-то духовнее и просветленнее, чем казалось раньше, и с особой, трепетной, страстной, непрерывной благодарностью отзывался на любовь, терпение и ласку Ирины Владимировны.

О ней и были его последние, особенно «нужные» слова, сказанные шепотом, торопливо, в минуту, когда его жена вышла. Его мучила мысль о том, как будет жить ее одной, без него, в своей среде, где у каждого — свои заботы и тревоги, где и дружба, и всякие хорошие чувства держатся большей частью в границах, существуют лишь «постолько постолько». Об этом незадолго до смерти составил он записку, обращенную друзьям литературным, частью, может быть, и неведомым.

Он надеялся на отклик, волновался, что реально и практически ничего уже не может сделать, в чем-то упрекая себя, мучился сомнениями о будущем. Несколькими строками выше я написал, что он не боялся смерти: в этом смысле боялся, т.е. боялся, что жизнь дорогого ему человека сложится после него не так, как ему хотелось бы.

В ответ на любовь он сам весь светился любовью. А мне, на все отстранено себя или годы, отходя, будет помнить, что в последнюю свою с ним встречу я видел его именно таким: полным того чувства, которое в сущности единственно в человеке ценно.